Посвящается Дане Мерфи

Я бодрствую там, где умирают женщины.

Дженни Хольцер (1993)

12 часов

Ты — отпечаток пальца.

Открыв глаза в последний день своей жизни, ты видишь свой большой палец. В желтушном тюремном свете линии на подушечке твоего пальца похожи на высохшее русло реки, на закрученные узоры песка, размытого водой, которая когда-то протекала здесь, а теперь ушла.

Ноготь слишком длинный. Ты вспоминаешь старый миф из детства о том, что после смерти ногти продолжают расти, пока не скручиваются вокруг костей.

*

— Заключенный, назовите свое имя и номер.

— Ансель Пэкер, — отзываешься ты. — 999631.

Ты переворачиваешься на спину в койке. На потолке появляется привычная картина — узор водяных разводов. Если правильно повернуть голову, влажное пятно в углу обретает очертания слона. «Сегодня тот самый день», — думаешь ты, глядя на полосу вздувшейся краски, образующую слоновий хобот. Сегодня тот самый день. Слон улыбается так, словно знает страшную тайну. Ты потратил много часов, пытаясь в точности воспроизвести это выражение, отвечая слону на потолке такой же улыбкой — сегодня она получается искренней. Вы со слоном улыбаетесь друг другу до тех пор, пока факт, что это утро наступило, не перерастает в возбужденное осознавание, пока вы оба не становитесь похожи на маньяков.

Ты перекидываешь ноги через край койки, отрываешь свое тело от матраса. Ты надеваешь свою тюремную обувь — черные шлепанцы, которые велики тебе на пару сантиметров и в которых скользят ступни. Ты поливаешь зубную щетку водой из металлического крана, выдавливаешь крупитчатую полоску зубного порошка, затем смачиваешь волосы перед маленьким зеркалом, где стекло на самом деле не стекло, а исцарапанный, разъеденный алюминий, который не разлетится вдребезги, если попытаться его разбить. В нем твое отражение расплывчато и искажено. Ты один за другим обкусываешь каждый ноготь над раковиной, тщательно и равномерно отрывая белые ободки, пока ногти не становятся одинаково обгрызенными и короткими.

Капеллан, посетивший тебя вчера вечером, сказал, что зачастую самая тяжелая часть — обратный отсчет. Обычно тебе нравится этот капеллан — лысеющий мужчина, втягивающий, словно от стыда, голову в плечи. Капеллан в тюрьме «Полунски» недавно: лицо у него мягкое и покорное, открытое нараспашку, как будто можно проникнуть прямо ему в душу. Капеллан говорил о прощении, облегчении бремени и принятии того, что мы не можем изменить. Затем вопрос:

«Ваша свидетельница… — капеллан говорил через окошко для свиданий. — Она приедет?»

Ты представил себе письмо на полке в тесной маленькой камере. Манящий кремовый конверт. Капеллан смотрел на тебя с неприкрытой жалостью — ты всегда считал жалость самым оскорбительным чувством. Жалость — это разрушение под маской сочувствия. Жалость обнажает до костей. Жалость унижает.

«Она приедет, — сказал ты. Затем: — У вас что-то застряло в зубах». Ты смотрел, как рука капеллана встревоженно взметнулась ко рту.

По правде говоря, ты не особо задумывался о сегодняшнем вечере. Все это слишком абстрактно, слишком легко принимает любую форму. Слухам о корпусе 12 никогда не стоит доверять: один парень вернулся помилованным всего за десять минут до инъекции, когда он уже был привязан к каталке, и рассказал, что его пытали несколько часов, загоняя под ногти бамбуковые щепки, как герою боевика. Другой заключенный утверждал, что его угостили пончиками. Ты предпочитаешь не строить догадок. Капеллан сказал, что бояться — это нормально. Но ты не боишься. Вместо этого ты испытываешь тошнотворное чувство изумления — в последнее время тебе снится, что ты летишь по ясному голубому небу, паря над огромными кругами на полях. Твои уши закладывает от перепадов высоты.

*

Наручные часы, которые ты унаследовал в отсеке С, переведены на пять минут вперед. Ты предпочитаешь быть готовым. Они показывают, что у тебя осталось одиннадцать часов двадцать три минуты.

Тебе обещали, что больно не будет. Тебе обещали, что ты вообще ничего не почувствуешь. Однажды напротив тебя в комнате для свиданий сидела психиатр в строгом костюме и дорогих очках. Она сказала тебе то, о чем ты всегда подозревал и что невозможно забыть, то, чего ты предпочел бы никогда не слышать. По твоим обычным расчетам, выражение лица психиатра должно было дать тебе больше — как правило, ты можешь определить надлежащую степень огорчения или сожаления. Но лицо психиатра было намеренно непроницаемым, и ты возненавидел ее за это. «Что вы чувствуете?» — спросила она. Вопрос был бессмысленным. Чувства имели так мало значения. Поэтому ты пожал плечами и ответил правду: «Я не знаю. Ничего».

*

К 6:07 утра твои принадлежности уже готовы.

Вчера вечером ты смешал краски — Лягушатник научил тебя этому еще в отсеке С. Ты раздавил набор цветных карандашей корешком тяжелой книги, затем смешал порошок с баночкой вазелина из тюремного ларька. Ты размочил в воде три палочки от эскимо, которое выменял на десятки пакетиков приправы для лапши быстрого приготовления, и обрабатывал дерево, пока оно, истершись, не расщепилось на волокна, похожие на щетинки кисти.

Теперь ты устраиваешься на полу у двери камеры. Ты следишь за тем, чтобы край твоего картонного холста находился прямо в полосе света, падающего из коридора. Ты не обращаешь внимания на поднос с завтраком на полу, нетронутый с тех пор, как его принесли в 3:00 ночи, — подливка покрылась пленкой, а консервированные фрукты уже кишат муравьями-древоточцами. Сейчас апрель, но кажется, что июль; часто работает отопление, и кусочек сливочного масла растаял, превратившись в лужицу жира.

Тебе разрешено иметь только одно электронное устройство — ты выбрал радиоприемник. Ты тянешься к ручке, раздается треск помех. Мужчины в ближайших камерах часто выкрикивают свои пожелания — ритм-н-блюз или классический рок, — но они знают, что произойдет сегодня. Они не возмущаются, когда ты настраиваешься на свою любимую станцию. Классическую. Симфония звучит внезапно и шокирующе, заполняя каждый уголок бетонного пространства. Симфония в фа мажор. Ты приспосабливаешься к существованию звука, свыкаешься с ним.

«Что вы рисуете?» — как-то спросила Шона, просовывая поднос с твоим обедом в дверную щель. Она наклонила голову, чтобы получше рассмотреть твой холст.

«Озеро, — ответил ты. — Место, которое я когда-то любил».

Тогда она была еще не Шоной, а надзирателем Биллингс: волосы собраны в низкий тугой пучок, форменные брюки сморщены на выпуклых бедрах. Она стала Шоной шесть недель спустя, когда прижала растопыренную ладонь к твоему окошку. Ты узнал этот взгляд Шоны, ты видел его у других девушек в других жизнях. Испуг. Своим желанием, таким ранимым и неуправляемым, она напомнила тебе Дженни. «Назовите мне свое имя, надзиратель», — попросил ты, и она густо покраснела. Шона. Ты повторил это имя благоговейно, как молитву. Ты представил, как нервно бьется ее пульс, как трепещут голубые венки на тонкой белой шее, и стал чем-то бо́льшим, и черты новой версии тебя уже проступили на твоем лице. Шона улыбнулась, показав щербинку между зубами. Смущенно, плотоядно.

Когда Шона ушла, Джексон одобрительно, с грубыми шуточками заулюлюкал из соседней камеры. Ты выдернул из простыни торчавшие нитки, привязал к концу миниатюрный батончик «Сникерс» и запустил его под дверь Джексона, чтобы тот заткнулся.

Ты пытался нарисовать что-нибудь другое для Шоны. Нашел фотографию розы, засунутую в один из учебников по философии, которые ты брал в библиотеке. Ты идеально смешал цвета, но лепестки не получились.

Роза оказалась размытым жгуче-красным пятном, все углы неправильные, и ты выбросил холст, пока Шона его не увидела. В следующий раз, когда она отперла твою камеру, чтобы отвести по длинному серому коридору в душевую, Шона как будто что-то знала — она потянулась к металлу твоих наручников и прижала большой палец к внутренней стороне твоего запястья, проверяя. Надзиратель по другую сторону от тебя тяжело дышал через нос и не заметил, как ты вздрогнул. Ты так давно не чувствовал ничего, кроме грубых рук, тащащих тебя через клетки, прохладных ребер пластиковой вилки и скучного удовольствия от собственной руки в темноте. Прикосновение Шоны вызвало электрический трепет.

С тех пор вы усовершенствовали этот обмен.

Записки, спрятанные под обеденными подносами. Мгновения, улученные между твоей камерой и клеткой для прогулок. Буквально на прошлой неделе Шона просунула в дверную щель твоей камеры сокровище — маленькую черную шпильку для волос из тех, что усеивали ее гладкий пучок.

Теперь ты обмакиваешь палочку от эскимо в синюю краску в ожидании ее шагов. Твой картонный холст терпеливо разложен вдоль двери, уголок к уголку. Сегодня утром у Шоны будет ответ. Да или нет. После вашего вчерашнего разговора он может быть любым. Ты умеешь игнорировать сомнения, сосредотачиваясь на предвкушении, словно оно — живое существо, покоящееся у тебя на коленях. Начинается новая симфония, сперва тихая, затем все более напряженная и глубокая, — ты концентрируешься на стремительном ритме виолончели, думая о том, что событиям свойственно ускоряться, наслаиваться, и это всегда приводит к захватывающему крещендо.

*

Рисуя, ты посматриваешь на бланк. Опись имущества осужденного. Каким бы ни был ответ Шоны, тебе придется паковать вещи. В изножье койки лежат три красных сетчатых мешка — самые необходимые вещи перевезут в тюрьму «Стены», где у тебя, прежде чем все заберут, будет еще несколько часов с земными ценностями. Ты лениво набиваешь мешки всем, что накопил за последние семь лет в «Полунски»: запасными тюбиками зубной пасты, острым соусом и кукурузными колечками со вкусом лука. Теперь все это бессмысленно. Ты оставишь все Лягушатнику в отсеке С — единственному заключенному, который мог выиграть у тебя в шахматы.

Свою Теорию ты оставишь здесь. Все пять блокнотов. Дальнейшая судьба Теории будет зависеть от ответа Шоны.

И все же есть вопрос с письмом. Есть вопрос с фотографией.

Ты поклялся больше его не перечитывать. Ты все равно выучил его почти наизусть. Но Шона опаздывает.

Поэтому, убедившись, что руки у тебя сухие и чистые, ты с трудом встаешь, дотягиваешься до верхней полки и достаешь конверт.

Письмо Блу Харрисон короткое, лаконичное. Всего один листок линованной бумаги. Она вывела твой адрес наклонным почерком: Ансель Пэкер, тюрьма «Полунски», корпус 12, отсек А, отделение смертников. Долгий вздох. Ты бережно кладешь конверт на подушку, а затем, отодвинув стопку книг, находишь фотографию, приклеенную скотчем и спрятанную между полкой и стеной.

Это твой любимый уголок камеры, отчасти потому, что его никогда не обыскивают, а отчасти из-за граффити. Тебя держат в этой камере в отсеке А с тех пор, как назначили официальную дату, а когда-то, еще до тебя, другой заключенный старательно выцарапал на бетоне слова: «Мы все бешеные». Видя эту надпись, ты каждый раз улыбаешься — настолько она странная, нелепая и непохожая на другие тюремные граффити (в основном цитаты из Писания и изображения гениталий). В нацарапанной фразе есть тихая правда, учитывая обстоятельства, ее можно назвать почти забавной.

Ты отклеиваешь скотч от уголка фотографии, стараясь не порвать. Садишься на кровать, держа фотографию и письмо на коленях. «Да, — думаешь ты. — Мы все бешеные».

*

Пока несколько недель назад не пришло письмо от Блу Харрисон, фотография была единственным, что ты хранил для себя. Еще до вынесения приговора, когда твой адвокат верила в историю с вынужденным признанием, она предложила тебе помощь. Потребовалось несколько телефонных звонков, но в конце концов ей удалось отправить фотографию по почте из офиса шерифа в Таппер-Лейке.

На фотографии «Синий дом» выглядит маленьким. Ветхим. Из-за ракурса не видно ставни с левой стороны, но ты помнишь, как они утопали в гортензиях. Глядя на фотографию, легко увидеть только ярко-синий дом с облупившейся краской. Признаки того, что это ресторан, не бросаются в глаза. Над крыльцом развевается флаг: открыто. Гравийная подъездная дорожка расчищена, чтобы создать импровизированную парковку для посетителей. С улицы занавески кажутся просто белыми, но ты знаешь, что с другой стороны они в красную клетку. Ты помнишь запахи. Картофель фри, лизол, яблочный пирог. Лязг кухонных дверей. Пар, разбитые стаканы. В день, когда была сделана фотография, небо было подернуто дождем. Глядя на снимок, ты почти чувствуешь резкий дух серы.

Твоя любимая деталь на фотографии — окно верхнего этажа. Занавеска слегка приоткрыта, и, если присмотреться, можно увидеть силуэт руки, от плеча до локтя.

Обнаженной руки девочки-подростка. Тебе нравится представлять, что она делала в тот самый момент, когда была сделана фотография, — вероятно, стояла у двери своей спальни, разговаривая с кем-то или смотрясь в зеркало.

Она подписала письмо «Блу». Ее настоящее имя Беатрис, но для тебя и всех, кто тогда ее знал, она не была Беатрис. Она всегда была Блу: Блу с заплетенными в косу и перекинутыми через плечо волосами. Блу в толстовке команды по легкой атлетике Таппер-Лейка с нервно натянутыми на запястья рукавами. Возвращаясь в памяти к Блу Харрисон и времени, проведенному в «Синем доме», ты вспоминаешь, как она никогда не могла пройти мимо витрины, не бросив тревожный взгляд на свое отражение. Ты не знаешь, что за чувство испытываешь, когда смотришь на фотографию. Оно не может быть любовью, потому что тебя проверяли: ты не смеешься и не вздрагиваешь в нужные моменты. Есть статистика. Что-то насчет распознавания эмоций, сочувствия, боли. Ты не понимаешь ту любовь, о которой читаешь в книгах, а фильмы тебе нравятся в основном за то, что по ним можно изучать мастерство перевоплощения. И все же, что бы они ни говорили о твоих способностях, — это не может быть любовью, это было бы невозможно с неврологической точки зрения, — но, глядя на фотографию «Синего дома», ты переносишься туда. В место, где крики прекращаются. Тишина восхитительна, она приносит невыразимое облегчение.

*

Наконец-то эхо из длинного коридора. Знакомое шарканье шагов Шоны.

Ты опускаешься на пол, возобновляешь размеренные движения кистью: ты усеиваешь траву крошечными красными цветочками. Ты пытаешься сосредоточиться на кончике щетины, на восковом запахе раздавленного карандаша.

— Заключенный, назовите свое имя и номер.

Голос Шоны всегда звучит так, словно она на грани срыва, — сегодня каждые пятнадцать минут будет подходить надзиратель, чтобы убедиться, что ты все еще дышишь. Ты не осмеливаешься оторвать взгляд от своей картины, хотя и знаешь, что на ее обнаженном лице будет написано все то же откровенное и неприкрытое желание, смешанное теперь с волнением или, может быть, печалью, в зависимости от ее ответа.

У тебя есть то, что нравится Шоне, но на самом деле ничего из этого не имеет отношения к тебе. Ее увлекает твое положение: твоя сила заперта в клетке, ключ буквально у нее в руках. Шона из тех женщин, которые не нарушают правил. Она послушно отворачивается, пока надзиратели-мужчины производят досмотр с раздеванием перед каждым душем и каждым часом прогулки. Ты проводишь двадцать два часа в сутки в этой камере размером два на три метра, где физически не можешь видеть других людей, и Шона это знает. Она из тех женщин, которые читают любовные романы с мускулистыми мужчинами на обложках. Ты чувствуешь запах ее стирального порошка и сэндвича с яичным салатом, который она приносит из дома на обед. Шона любит тебя за то, что вы не можете стать ближе, за то, что между вами стальная дверь, обещающая и страсть, и безопасность. В этом смысле она совсем не похожа на Дженни. Дженни вечно прощупывала тебя, пыталась заглянуть внутрь. «Расскажи мне, что ты чувствуешь, — говорила Дженни. — Отдай мне всего себя». Но Шона наслаждается расстоянием, опьяняющей неизвестностью, которая всегда разделяет двух людей. И теперь она стоит на краю пропасти. Требуется вся сила воли, чтобы не поднять глаза и не подтвердить то, что ты и так знаешь: Шона принадлежит тебе.

— Ансель Пэкер, — спокойно отзываешься ты. — 999631.

Форма Шоны поскрипывает, когда она наклоняется, чтобы завязать шнурки на ботинке. Камера в углу не охватывает ту часть клетки, где идеально расположился твой холст. Мелькает быстрая, почти неуловимая вспышка белого — проблеск бумаги: записка Шоны проскальзывает в дверную щель и незаметно прячется под краем картины.

*

Шона верит в твою невиновность. «Ты бы никогда этого не сделал, — прошептала она однажды, остановившись возле твоей камеры во время долгой вечерней смены. Ее щеки были изрезаны тенями. — Ты бы никогда».

*

Она, конечно, знает, как тебя называют в корпусе 12.

Убийца Девочек.

Газетная статья изобиловала подробностями: она вышла после твоей первой апелляции и прозвище распространилось по корпусу 12 со скоростью лесного пожара. Автор свалил все случаи в одну кучу, будто они были преднамеренными, связанными друг с другом. Девочки. В статье использовалось это слово, которое ты ненавидишь. «Серийный» — это нечто иное, ярлык, предназначенный для мужчин, непохожих на тебя.

Ты бы никогда. Шона уверена, хотя ты сам ни разу этого не утверждал. Ты предпочитаешь позволять ей пустословить, позволять, чтобы негодование взяло верх, — это неизмеримо проще, чем вопросы: «Вы сожалеете? Вы раскаиваетесь?» Ты никогда до конца не понимаешь, что это значит. Конечно, ты сожалеешь. Точнее, ты не хотел бы здесь находиться. Ты не представляешь, как чувство вины может кому-то помочь, но этот вопрос задавали тебе годами, на протяжении всего судебного

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru